

РАЗДЕЛ 1. ТЕОРИЯ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ЛИНГВИСТИКИ

УДК 81'373.612.2
ББК Ш141.2-33

ГСНТИ 16.21.27; 16.21.49

Код ВАК 10.02.01

А. Д. Васильев **A. D. Vasiliev**
Красноярск, Россия Krasnoyarsk, Russia

ЗАГРАНИЧНЫЕ ИСТИНЫ: СВОБОДНЫЙ МИР VS ТЮРЬМА НАРОДОВ

Аннотация. На примере фразеологизмов «свободный мир» и «тюрьма народов» рассматриваются технологии политической метафорики.

Ключевые слова: политическая метафорика; «свободный мир»; «тюрьма народов».

Сведения об авторе: Васильев Александр Дмитриевич, доктор филологических наук, профессор, профессор кафедры общего языкознания.

Место работы: Красноярский государственный педагогический университет им. В. П. Астафьева.

Контактная информация: 660049, г. Красноярск, ул. А. Лебедевой, 89.

e-mail: vasileva@kspu.ru.

THE FOREIGN TRUTHS: FREE WORLD VS PRISON OF PEOPLES

Abstract. On the basis of phraseological units «free world» and «prison of peoples» the article reveals the technologies of political metaphorsics.

Key words: political metaphorsics; «free world»; «prison of peoples».

About the author: Vasiliev Aleksander Dmitrievich, Doctor of Philology, Professor of the Chair of General Linguistics.

Place of employment: Krasnoyarsk State Pedagogical University n. a. V. P. Astafiev.

Политический язык может быть разноаспектно определен как «особая подсистема национального языка, предназначенная для политической коммуникации: для пропаганды тех или иных идей, эмотивного воздействия на граждан страны и побуждения их к политическим действиям, для выработки консенсуса, принятия и обоснования социально-политических решений в условиях множественности точек зрения в обществе» [Чудинов 2003: 11]. В иной системе научных координат (при понимании дискурса как одной из составляющих семиотического процесса) политический дискурс считается разновидностью идеологического дискурса [Базылев 2005: 13]. И в том, и в другом случае реализация языковых ресурсов целенаправленна: она подчинена распространению и утверждению в общественном сознании неких идей, идеологических систем, базирующихся на определенных стереотипах. Несомненно, что усилия их создателей и распространителей достигают большего пропагандистского (манипулятивного) эффекта при условии привлекательной сло-

Под видом заграничной истины мы беспомощно получаем от своих поставщиков-производителей чистую ложь или озорство совершенно домашнего кустарного изделия.

В. О. Ключевский

Любит русский человек побранить собственное отечество. И то ему, видите ли, в России плохо, и это не нравится. А вот, дескать, в Европе всё здорово. А что здорово — он и сам не знает.

М. М. Зоценко

весной упаковки их продукции, т. е. при надлежащем вербальном оформлении, в котором, естественно, используются образные средства языка — тропы, позволяющие не только воздействовать на интеллект объекта (аудитории), но и, что, может быть, еще важнее, стимулировать динамику его эмоций (а следовательно, и моделировать поведение) в направлении, необходимом манипулятору. Среди таких тропов особое место издавна принадлежит метафоре; полагают, что «метафоричность — один из важнейших признаков современной агитационно-политической речи» [Чудинов 2003: 7].

Это связано с тем, что «метафоры — это готовые штампы мышления, но штампы эстетически привлекательные. Это — выраженные художественно стереотипы» [Карамурза 2002: 135]. Ср. определение последнего понятия в одном из недавних исследований: «Стереотип — это упрощенный и эмоционально окрашенный шаблон, используемый человеком в случаях нехватки феноменологического опыта взаимодействия с каким-либо объектом или явлением

и приобретаемый им посредством языка» [Косяков 2009: 3]. Иначе говоря, навязанный вербально выраженный стереотип представляет собой некий суррогат результата подлинного, непосредственного познания действительности, да и ее самой — тоже.

«...Метафора обладает мощным коннотативным ореолом: семы эмотивности, яркая внутренняя форма, образность — всё это дает разнообразные дополнительные приращения смысла и влияет на восприятие текста адресатом» [Чудинов 2003: 48].

Жесткое идеологическое противостояние двух систем может быть представлено воплощением универсальной семиотической оппозиции *свое/чужое* = *хорошее/плохое*, причем всё, понимаемое как *свое*, оценивается безусловно положительно, а квалифицируемое как *чужое* — столь же безусловно отрицательно.

Абсолютизация же достоинств «своего» и ущербности «чужого» получала в ходе «борьбы миров» различные метафорические экспликации. Механизмы их воздействия на сознание могут быть описаны, например, следующим образом: манипулятивная «функция метафоры реализуется в создании некоего представления о действительности, которое нужно политику-оратору и которое, чаще всего, кардинально отличается от реального положения вещей в мире. Таким образом, оратор „манипулирует“ представлениями реципиента, как бы „переконцептуализируя“ политическую реальность. Метафора в данном случае позволяет выделить какой-то аспект проблемы, сделать его более значимым, либо, наоборот, отвлечь от него внимание общества, показать какой-то вариант развития событий и пр. ...Метафора предстает не только средством познания социальной реальности, но и сильным социальным орудием навязывания идеологии» [Керимов 2007: 66].

Подобные феномены могут быть наглядно проиллюстрированы на примере внедрения в сознание советско-российского социума двух антонимичных (и при этом комплементарных) импортных метафор: *свободный мир* и *тюрьма народов*.

Понятие «свобода» — одно из тех, которые неизменно актуальны на протяжении всей истории человеческого общества и в силу этого столь же неизменно притягательны для разноаспектного осмысления и изучения представителями различных гуманитарных наук.

Приведем в качестве примера данные одного из недавних исследований, посвя-

щенного раскрытию национальной специфики бытования концепта *свободная страна* в русском, немецком и американском когнитивном сознании [Онищенко 2009]: автор исходит из того, что «в отличие от многих идиом *свободная страна* явно имеет смысл, который можно объективировать, а следовательно, извлечь» [Там же: 91] (хотя насколько это словосочетание идиоматично — уже другой вопрос: вернее было бы, наверное, говорить о фразеологизированном идеологическом стереотипе). В результате тщательного анализа с применением взаимодополняющих методик получены довольно интересные результаты: «Для русского языка наиболее частотными лексическими объективациями концепта являются: *независимая, суверенность, демократия, богатая, сильная, счастливая, благополучная, справедливая, забота о гражданах, США, Россия...* Для американского концепта — это: *the USA, Canada, England, democracy, republic, liberty, freedom...* Для немецкого концепта: *Demokratie, Deutschland, Schweden, Meiningsfreiheit...*» [Там же: 92—93]. В русском же национальном сознании „свободная страна — это США“ — прежде всего — и только потом (для значительно меньшего числа людей) Россия» [Там же: 101]; «США позиционируют себя как страна (равных) возможностей» [Там же] и «в отдельных государствах (выходит, и в России тоже! — А. В.) складывается мнение о России как о несвободной стране» [Там же: 102].

Было бы совершенно нелишним попытаться выяснить хотя бы наиболее вероятные причины, обусловившие такие представления о степени свободы/несвободы собственной страны, которые прочно сложились в сознании «уважаемых россиян».

Говоря о предпосылках, позволивших осуществить в 1980—1990-х гг. в СССР «революцию сверху» и ее перестроечный этап без насилия (точнее, *почти* без вооруженного насилия) и без явного столкновения крупных социальных сил, называют отрыв сознания советских граждан от здравого смысла и житейской мудрости. «Поколения, создавшие советский строй, определили главный критерий выбора — *сокращение страданий* ... Ради этого были понесены большие жертвы, но уже с 60-х годов возникло стабильное и нарастающее благополучие ... В ходе перестройки ее идеологи убедили политически активную часть общества изменить выбор — пойти по пути *увеличения наслаждений* и пренебречь опасностью массовых страданий ... Как пример успешного продвижения по пути *увеличения наслаждений* идеологи перестройки дали

советским людям Запад, представленный **светлым мифом** (выделение полужирным курсивом здесь и далее наше. — А. В.)» [Кара-Мурза 2002: 327—330]. Таким образом на совершенно конкретном примере можно наблюдать реальные последствия взаимной замены компонентов универсальной семиотической оппозиции 'свое'/ 'чужое' (в других модификациях также 'хорошее'/ 'плохое', 'сакральное'/ 'профанное' и т. д.): 'свое' стало восприниматься как 'плохое' и, напротив, 'чужое' — как 'хорошее'.

Такое стало возможным в том числе и потому, что *архитекторы и прорабы перестройки*, взяв на вооружение «светлый миф о Западе», растиражировали и внушили его послушной и не в меру доверчивой аудитории. Им даже не пришлось что-либо изобретать: этот миф задолго до перестройки был сконструирован их старшими зарубежными партнерами и активно транслировался всеми доступными способами в форме представления о Западе как о *свободном мире*.

По свидетельству американского социолога С. Ниринга, «термин *свободный мир* выбрали, завизировали и пустили в обиход люди, утверждавшие, что свобода — не просто благо, а высшее, главное благо. В поисках лозунга, который стал бы аксиомой и саморекламой, современные западные лидеры перебрали целый ряд эпитетов, как-то: *цивилизованный* (ср. постоянные пропагандистские рассказы о «цивилизованных государствах» — А. В.), *христианский, западный*, отвергнув их по причине неэффективности и неубедительности. Они остановились на слове *свободный*, услышав в его звучании самый вдохновенный, всеобъемлющий и убедительный панегирик западному образу жизни» [Ниринг 1966: 75—76]. Действительно, «концепция свободы играет главную теоретическую и политическую роль в формировании взглядов, в пропаганде той или иной политики ... Свобода — это возможность осуществить выбор, принять решение и воплотить его в жизнь без принуждения и самостоятельно...» [Там же: 15]. Однако «свобода осуществления личных стремлений за счет общественных способна подорвать общественное благополучие и составить угрозу самой его основе. Осуществление личных целей, доведенное до крайнего противоречия с целями общественными, ослабляет, раскалывает и, возможно, даже приводит коллектив к гибели... Свобода хозяина эксплуатировать подчиненных по-прежнему составляет основу внутренних взаимоотношений в любом обществе частной инициативы... Свобода — сама по себе несовершенное понятие, оно

нуждается в конкретизации...» [Там же: 18, 34, 37]. Конечно, об этих прелестях *свободного мира* — как оборотной стороне свободы и ее неперемных условиях — советской аудитории ее перестройщиками благоразумно не сообщалось (как и сегодня — российской, которая, впрочем, уже смогла наслаждаться некоторой сопричастностью к «свободному миру»). Очевидно, потому так живучи внесенные до и во время перестройки стереотипы, обнаруживающиеся подчас и в научных трудах лингвистов, у которых Америка ассоциируется не только прежде всего с материальным благополучием, но и со свободой, возможностью реализации творческого потенциала личности [Мазнева 2002: 96]; по мнению другого ученого, «в США ... на первое место ставится отношение к человеческой личности как к высшей ценности» [Шляхтина 2008: 94], да и вообще «для формирования взрослой культурной среды в стране (России) ... нужно административное принуждение ... Необходимо внедрять этикет внешнего вида и поведения на службе, ставить контролеров в офисах, как в Америке» [Стернин 2000: 165] (ср. пресловутые *дресс-код, фейсконтроль* и т. п.). Таковы плоды идеологического просвещения.

Конечно, успех предприятия перестройщиков был обеспечен в том числе и тем, что Советский Союз представлял собой четко централизованное государство, населенное в основном дисциплинированными подданными, и тем, что его правители сумели использовать это при «перестройке». Закономерно, что впоследствии один из главных ее исполнителей (уже будучи в отставке за ненужностью), объясняя задним числом свою деструктивную политику (впрочем, для благодарной зарубежной аудитории), тоже оперировал понятием «свобода» как символом-концептом: «Целью **всей** моей жизни было уничтожение коммунизма, невыносимой диктатуры над людьми <...>. Путь народов к **действительной свободе** труден и долг, но он обязательно будет успешным. Только для этого весь мир должен **освободиться** от коммунизма» [Горбачёв: «Целью моей жизни было уничтожение коммунизма»].

Понятие «свобода» концептуально весьма содержательно, а потому его вербальные воплощения усердно и успешно применяются в спекулятивно-пропагандистских операциях. В частности, «в демократическую эпоху кому-то в целях манипуляции сознанием плохо думающей публики потребовалось выдвинуть тезис о свободе слова. Но сегодня-то всякому человеку хорошо известно, что нынешний тоталитаризм СМИ похлеще советского» [Аннушкин 2009: 177].

Ведь априорно понятно, что «с точки зрения семантики „свобода слова“ — это оксюморон, сочетание того, что изначально не сочетается. Идеологическое слово по природе своей не может быть свободным» [Коньков 2009: 89]. Так и слово *демократия*, зачастую как бы подверстываемое к слову *свобода*, что может основываться в том числе и на некоторой общности семантических компонентов (ср.: «*демократия* — 1) форма политической организации общества, основанная на признании народа в качестве источника власти, на его праве участвовать в решении государственных дел и наделении граждан достаточно широким кругом прав и *свобод*» ◇ «*буржуазная демократия* — форма государственной организации, при которой формальное равенство политических прав и *свобод* всех граждан прикрывает собой господство буржуазии над трудящимися» [МАС₂, 1: 385]), тоже является традиционно востребованным в словесном обеспечении политических затей — как в глобальном масштабе, когда агрессия в целях овладения природными ресурсами ведется под предлогом осчастливить кого-нибудь демократией, так и во внутрисударственном применении (и действительно, «демократия куда лучше, чем диктатура, если только парламентское большинство на нашей стороне» [Бёлль 1990, 2: 632]).

Итак, эталон *свободной страны* обнаружен: он присутствует, как и следовало ожидать, в *свободном мире*. Оказывается, однако, что «когнитивный образ концепта (*свободная страна*) в русском, американском и немецком национальном сознании имеет общий признак — *свободная страна не похожа на тюрьму*» [Онищенко 2009: 98]. Такая антитеза вовсе не случайна.

Вполне возможно, что определенный новейшими идеологами статус нашего многострадального и долготерпеливого Отечества имеет довольно солидную биографию и тоже оказался выражен метафорически, а именно определением *тюрьма народов*.

Наиболее вероятный исторический источник этой метафоры — сочинение француза А. де Кюстина «Россия в 1839 году» (эту книгу А. И. Герцен назвал «самой занимательной и умной книгой, написанной о России иностранцем» — цит. по: [Ашукин, Ашукина 1986: 643]). Там говорится, в частности: «Империя эта при всей своей необъятности — не что иное, как *тюрьма*, ключ от которой в руках у императора... Жизнь *тюремщика* всегда представлялась мне столь похожей на жизнь узника... Обратите внима-

ние на то, что в русском языке слово „*тюрьма*“ означает нечто большее, чем в других языках (то ли дело — Бастилия или Тауэр! — А. В.). Дрожь пробирает, как подумаешь обо всех тех жутких подземельях, которые в стране этой, где всякий с рождения учится не болтать лишнего, скрыты от нашего сочувствия за стеной вымуштрованного молчания» [Кюстин 1996, 1: 251]; «...Я вынес наконец суждение о Николае I ... Это человек с твердым характером и непреклонной волей, — без этих качеств невозможно стать *тюремщиком* третьей части земного шара...» [Кюстин 1996, 2: 23].

Позднейший комментатор справедливо замечает, что А. де Кюстин говорил не о межнациональных отношениях, не об угнетении метрополией *нерусских* народов, но о равно незавидном положении *всех* народов, находившихся под властью императора, «об отсутствии в России гражданского общества (и просто независимого общественного мнения), способного противостоять воле монарха, который по своей необъятной власти почти равен азиатскому владыке ... Позже это выражение переосмыслил В. И. Ленин, который сделал упор на угнетении *нерусских* народов в России. Например: „Запрещение чествования Шевченко было такой превосходной ... мерой с точки зрения агитации против правительства, что лучшей агитации и представить себе нельзя... После этой меры миллионы... „обывателей“ стали превращаться в сознательных граждан и убеждаться в правильности того изречения, что Россия есть „*тюрьма народов*“ (статья „К вопросу о национальной политике“)» [Серов 2005].

Действительно, В. И. Ленин немало способствовал тому, чтобы «окрылить» инвективную (у него — именно по отношению к русским) метафору: «Нам, представителям великодержавной нации крайнего востока Европы и доброй доли Азии, неприлично было бы забывать о громадном значении национального вопроса; — особенно в такой стране, которую *справедливо* называют „*тюрьмой народов*“» [Ленин 1976: 145] (кстати, цитируемый автор повод для «национальной гордости» находит прежде всего в том, что «великорусская нация *тоже* создала революционный класс» [там же: 146]). Отношение вождя мирового пролетариата к русским совершенно недвусмысленно в контексте этой хрестоматийно-знаменитой статьи: «А экономическое процветание и быстрое развитие Великороссии требует освобождения страны от *насилия великороссов над другими народами*» [там же: 147]. — «...Необходимо длительное воспи-

тание масс в смысле самого решительного, последовательного, смелого революционно-отстаивания полного равноправия и права самоопределения **всех угнетенных великороссами наций**» [Там же: 148]. Ср.: «Среди **угнетенных народов России** вспыхнуло освободительное национальное движение... Например, **мусульмане**, составляющие десятки миллионов населения России, с изумительной быстротой организовали тогда — это была вообще эпоха колоссального роста различных организаций — мусульманский союз... **Евреи** доставляли особенно высокий процент (по сравнению с общей численностью еврейского населения) вождей революционного движения. **И теперь** евреи имеют, кстати сказать, ту заслугу, что они дают относительно высокий процент представителей интернационалистского течения по сравнению с другими народами» [Ленин 1976: 174—175]. Таким образом, **всем** — без исключения — великороссам, т. е. русским, отведена роль тюремщиков («угнетателей»), остальные же являются заключенными («угнетенными»). Неудивительно, что зачастую само авторство крылатой метафоры ошибочно приписывается В. И. Ленину, а также и то, что она якобы характеризует «царскую Россию с ее политикой **угнетения нерусских народностей**» [Ашукин, Ашукина 1986: 643].

Следует сказать, что среди радикальных (а может быть, и не только радикальных?) российских революционеров не одни лишь большевики-ленинцы охотно тиражировали пропагандистский штамп «Россия — **тюрьма (нерусских) народов**» (иногда — с некоторыми вариациями в словесном оформлении). Когда-то временные союзники большевиков, а затем их противники, социалисты-революционеры (эсеры) тоже не упускали случая использовать эту, с их точки зрения, неубиенную карту (точнее, может быть, идеологическую дубину, оглушившую очень многих). Так, один из бывших основателей, руководителей и идеологов эсеров В. М. Чернов даже спустя многие годы после революции, находясь в эмиграции, в своих мемуарах продолжал утверждать: «Россия была при старом режиме „**темницей народов**“, и революция разбудила ее **узников** — т. н. „негосударственные национальности“» [Чернов 1991: 353]. Впрочем, такая позиция тоже не удивительна, если принять во внимание высокоинтернациональный состав этой партии, особенно ее верхушки (см.: [Чернов 1991: 337—339, 340, 343 и др.]).

Стоит заметить, что книга «Россия в 1839 году» издавалась на русском языке — в Москве — по крайней мере трижды: в 1930 г.,

а также в 1990 и 1996 гг. Очевидно, творцы идеологических стереотипов в каждый из указанных периодов были уверены в сугубой целесообразности широкой публикации этого сочинения как аргументированного оправдания своего отношения к России и русским, а следовательно — и теоретического обоснования соответствующей политики, в том числе кадровой.

В то же время чрезвычайно широкому тиражированию метафоры **тюрьма народов** несомненно способствовало преподавание в советских вузах одной из так называемых общественных наук, которая сначала именовалась «Историей Всесоюзной Коммунистической партии (большевиков)» («История ВКП (б)»), затем — «Историей Коммунистической партии Советского Союза» («История КПСС»). Обязательность прочного усвоения этой во многих отношениях интересной учебной дисциплины подразумевала, между прочим, и неперенное знакомство (в том числе в форме тщательного конспектирования) с трудами основоположников марксизма-ленинизма, компартийными документами и, естественно, с текстами соответствующих учебников. Обратимся к исходным позициям хотя бы двух из них.

«Царская Россия была **тюрьмой народов**. Многочисленные **нерусские народности** царской России **были совершенно бесправны**, беспрестанно подвергались всяческому унижениям и оскорблениям. Царское правительство приучало русское население смотреть на **коренные народности** национальных областей как на низшую расу, называло их официально „инородцами“, воспитывало презрение и ненависть к ним. Царское правительство сознательно разжигало национальную рознь, натравливало один народ на другой, организовывало еврейские погромы, татаро-армянскую резню в Закавказье. В национальных областях все или почти все государственные должности занимали русские чиновники. ... Царизм выступал в качестве палача и мучителя нерусских народов» [История ВКП (б) 1953: 6]. — «Царская Россия была **тюрьмой народов**. **Нерусские народы**, составлявшие 57 процентов населения, **были совершенно бесправны**, подвергались хищнической эксплуатации, терпели унижения и оскорбления. Царские чиновники творили над ними суд и расправу. Национальная культура нерусских народов подверглась гонению... Правительство официально называло нерусские народы „инородцами“, старалось привить русским презрение к ним. Царские власти натравливали одну нацию на другую, организовывали еврейские погромы, резню

между армянами и азербайджанцами» [История КПСС 1970: 12].

Как видим, сколько-нибудь принципиальные текстуальные различия обнаружить трудно. На протяжении нескольких десятилетий в сознание советского студенчества — будущей интеллигенции — внедрялась (вбивалась) сугубо отрицательная оценка роли русских в истории дореволюционной (т. е. до октября 1917 г.) России как народа — тюремщика других ее народов.

Кстати, подобный подход широко практиковался в вузовском преподавании и лингвистических дисциплин. Ср.: «Историко-филологическое отделение Академии наук выдвигало И. А. (Яна Игнацы Нецислава) Бодуэна де Куртенэ в действительные члены Академии, но его кандидатура была отклонена по политическим соображениям как слишком большого радикала для тех времен. Радикализм этот заключался в том, что Бодуэн <...> выступил в защиту **малых национальностей, угнетавшихся царским правительством**. В 1913 г. он издал написанную еще в 1905 г. брошюру „Национальный и территориальный признак в автономии“, в которой обвинял **царское правительство в закабалении и угнетении малых народностей** („инородцев“) в России» [Березин 1976: 174].

По мере творческих сил старались не дать забыть о такой трактовке роли русских в отечественной истории и мастера художественного слова. Уже в 1987 г. популярный тогда советский писатель призывал (причем не ссылаясь на первоисточник, в те времена хрестоматийно известный): «Не надо равнять Россию, бывшую „*тюрьмой народов*“, с братством нашего социалистического Союза республик, которым наш великий русский народ дал свободу и будущее!» [Семенов 1991: 515] (вероятно, упоминание о „*тюрьме*“ здесь предопределено некоторыми обстоятельствами личной биографии автора, а суждение насчет русского народа приведено для некоего баланса-реверанса. Впрочем, цитируемое произведение написано очевидно на том этапе перестройки — 1987 г., — когда уже модно было проклипать Сталина, но при этом еще следовало публично сокрушаться об утрате чистоты ленинского наследия).

Закономерна популяризация выражения „*тюрьма* (нерусских) *народов*“ как идеологической доминанты разноплеменными большевиками-ленинцами, ведь такая оценка одновременно подчеркивала **их** статус как **самых** угнетенных, униженных и оскорбленных и по-своему логично обосновывала **их** особые, приоритетные права на главенство не только в революционном движении, но и

в послереволюционное время — например, при распределении руководящих партийных, правительственных и прочих командных постов. Это позволяет лучше осмыслить векторы политических деклараций и следовавших за ними организационно-практических мероприятий. Так, в 1921 г. X съезд РКП (б) «направил главный свой удар против великодержавности как главной опасности, т. е. против остатков и пережитков такого отношения к национальностям, какое проявляли к нерусским народам великорусские шовинисты при царизме» [История ВКП (б) 1953: 246]. — «Что же понималось под «великодержавным шовинизмом» и что означала борьба с ним? Бухарин разъяснял: „...**Мы** в качестве бывшей великодержавной нации должны <...> поставить себя в неравное положение в смысле еще больших уступок национальным течениям“. Он требовал поставить русских „в положение более низкое по сравнению с другими...“» [Шафаревич 1990: 20]. Не случайной в 1930—1931 гг. следует считать и, казалось бы, не самую главную, но очевидно привычную для современников деталь так называемой «общественной жизни» советского учреждения, когда перечисляются стандартно-обязательные «ячейки добровольных обществ, имевшие своей целью спешествовать развитию авиации, химических знаний, автомобилизма, конного спорта, дорожного дела, а также скорейшему уничтожению великодержавного шовинизма» [Ильф, Петров 1957: 501]. В отличие от некоторых других масштабных замыслов большевиков (вроде мировой революции и пр.), этот был успешно реализован; причем, судя по некоторым симптомам, утрата коммунистической идеологией статуса официально доминирующей в России вовсе не означает прекращения ее дерусификации, выражающейся в том числе и в упоминаниях пресловутой *тюрьмы народов*. О живучести стереотипа можно судить и по относительно недавним лингвистическим публикациям; например: «Царская Россия **прослыла тюрьмой народов**. Дети разных народов отбывали срок в „исправительных лагерях“ и „трудовых колониях“ СССР» [Таирбеков 1998: 97] (весьма показателен здесь знак равенства между царской Россией и СССР — как *тюрьмами* для «разных народов», в число которых русские по известной инерции не включаются).

Метафорически воплощаемая позиция Запада по отношению к России остается константной многие годы. Например, Федеральный канцлер ФРГ Х. Шмидт даже во времена так называемой разрядки междуна-

родной напряженности начала 1980-х гг. высокомерно-пренебрежительно трактовал Советский Союз как «Верхнюю Вольту с ракетами» (вариант: «Верхняя Вольта с баллистическими (или: атомными) ракетами») [Душенко 2006: 536]; такое метафорическое определение может быть интерпретировано по-разному: и как оценка низкого культурного уровня населения и/или его материального благосостояния, и как суждение о несопоставимости военной мощи страны и ее отставания во всех других областях, и еще каким-то образом, но в любом случае сугубо отрицательно. Следует полагать, что и здесь идеологические и политические критерии совершенно ни при чем: речь идет опять же о «варварской России» и «русских дикарях», которые ни в малейшей степени не заслуживают — в глазах просвещенного европейца и главы цивилизованного государства — уважения к себе как «равноправному партнеру», а потому к ним применимы какие угодно меры воздействия: от экономических санкций до военной агрессии.

Совершенно логичными продолжениями метафоры *свободный мир* стали *цивилизованные государства* и *мировое сообщество* (до сих пор циркулирующие в российском официозе, транслируемом через СМИ), а метафору *тюрьма народов* сменила *империя зла* («...В 1983 г. президент США Рональд Рейган заявил, что вожди коммунистического тоталитаризма „олицетворяют зло в современном мире“, и осудил „агрессивные устремления *империи зла*“, т. е. СССР» [Душенко 2006: 273]). Да и сегодня «на Западе вовсе не считают Россию частью Европы. Главная идея Европы в отношении России — идея не партнерства, а сдерживания» [Рар 2006]. Даже отреформированную по зарубежным лекалам Россию охотно обвиняют в чем угодно, например в том, что... «она помешала мирному решению иракского конфликта, а ее действия привели к вооруженному вторжению в Ирак <...>. Выступая <...> перед депутатами британского парламента, Джон Соз <глава британской разведки> заявил, что именно Россия ответственна за провал попыток ввести в 2001 г. против режима Саддама Хусейна так называемые разумные санкции, которые позволили бы избежать вооруженного столкновения» [Советская Россия. 2009. 12 дек. С. 3].

Конечно, можно сказать, что в книге «Россия в 1839 году» и в других подобных заграничных опусах дана характеристика России извне, с точки зрения стороннего и весьма пристрастного наблюдателя. Но вот по существу пример скрытой манипуляции метафорой-штампом «Россия — *тюрьма*

народов» уже применительно к недавней **внутриполитической** ситуации: «Первую работу, чтобы направить мысли и чувства чеченцев к мести, произвели демократы из Москвы — старовойтовы и бурбулисы, нуйкины и приставкины. Вместо „народа, отбывшего наказание“ чеченцы вдруг были превращены в „репрессированный народ“. Кто же их „репрессировал“? Россия! Так ведь ставили вопрос наши демократы... Вина на политиках, но с помощью пропаганды ее нетрудно переложить на Россию в целом, на русских. Этим активно занимался С. Ковалев» [Кара-Мурза 2002: 177—178].

Несколько ранее и другие граждане СССР, вероятно, всерьез считали себя узниками *тюрьмы народов* (из которой некоторым удавалось бежать с помощью угона самолетов; правда, при этом случались человеческие жертвы, но ведь несчастные беглецы спасались из темницы!), где были обречены на пожизненное тяжкое томление, например: «После 85-го он <Марк Рудинштейн> выбился из стаи (т. е. благодаря «перестройке». — А. В.), а мог бы превратиться в **обычного затравленного** советского еврея, отказника...» [Ближний круг. RenTV. 2001. 16 дек.] («отказник — ‘в советское время: тот, кому отказано в праве выезда за границу’» [ГССРЯ 2001: 541]).

Возможны и иные оценки рассматриваемой здесь политической метафоры. Например, выдающийся отечественный славист академик О. Н. Трубачёв считал, что «образцом национального образования государства была и остается Российская империя. В ней нехудо жилось не только титульной нации, но и доброй сотне других народов. Запущенный в свое время миф „Россия — тюрьма народов“ живуч, по-прежнему кому-то нужен, но оттого не менее гнусен (проверка показала, что даже оплакиваемая всеми прогрессистами русская Польша и после ряда своих восстаний в XIX веке в сущности продолжала культурно процветать, оставляя в этом отношении, например в школьном образовании на родном языке, далеко позади славян такой европейской державы, как Австро-Венгрия. Не всем дано понять (точнее, вероятно, кто-то очень хочет, чтобы этого не понимали, экстраполируя метафору «*тюрьма народов*» на СССР, а заодно уж и на РФ! — А. В.), что в сущности и Советский Союз является преемником русского национального государствообразования. По крайней мере, у нас избегают об этом распространяться...» [Трубачёв 2004: 185]. Избегают об этом говорить и по сей день.

О культивировании традиционного вектора политики зарубежных государств сви-

детельствуют и данные недавних исследований. «Так, в отдельных государствах складывается <!> мнение о России как о несвободной стране... В 2004 году международная организация Freedom House впервые <!> назвала Россию „целиком несвободной страной“. В глазах мирового сообщества (обычно под так называемым *мировым сообществом* подразумеваются одно-два государства, иногда — чуть более. — А. В.). Россия вернулась во времена СССР и „холодной войны“» [Онищенко 2009: 102]. Хотя уж сегодня-то любой может выехать из РФ (за исключением лишь недобросовестных плательщиков) либо въехать в нее совершенно беспрепятственно, аналогия страны с неким местом лишения свободы продолжает сохраняться. Кстати, при упоминании об оценках России (или какой-либо иной страны), подобных цитированной выше, почему-то не задаются поиском ответов на, казалось бы, вполне естественные вопросы: какая квалификационная шкала при этом применяется; какого эталона придерживаются эксперты, кто они и на каком основании выступают в этой роли; что представляют из себя свободолюбивые организации, кем они управляются и на чьи средства финансируются и т. п. Весьма возможно, что если бы на подобные детали обращали больше внимания, то у многих «уважаемых россиян» было бы гораздо меньше поводов не только заниматься самоуничтожением, но и — хотя бы молча — соглашаться с якобы объективными выводами исторических недругов России. Впрочем, созвучные им мнения «изнутри» также имеют свои традиции, описанные в частности Ф. М. Достоевским; философствующий лакей Смердяков заявлял: «Я всю Россию ненавижу... В двенадцатом году было на Россию великое нашествие императора Наполеона..., и хорошо, кабы нас тогда покорили эти самые французы: умная нация покорила бы весьма глупую-с и присоединила к себе» [Достоевский 1958, 9: 282]. Другой персонаж того же автора замечает: «...от лакейства мысли все это ... Ненависть тут тоже есть..., они первые были бы страшно несчастливы, если бы Россия как-нибудь вдруг перестроилась, хотя бы даже на их лад, и как-нибудь вдруг стала безмерно богата и счастлива. Некого было бы им тогда ненавидеть, не на кого плевать, не над чем издеваться! Тут одна только животная, бесконечная ненависть к России, в организм ввевшаяся...» [Достоевский 1957, 7: 146—147].

Рассмотренные нами политические метафоры образуют, в силу своей направлен-

ности, тандем, но при этом — антонимическую пару, или смысловую оппозицию, выстроенную по образцу универсального семиотического противопоставления ‘сакральный’/‘профанный’ (‘хороший’/‘плохой’), конкретные лексические воплощения компонентов которого могут, как и во многих других случаях, варьироваться; ср.: *свободный мир* (*свободная страна, цивилизованные государства, мировое сообщество, демократические государства, западные демократии* и т. д.) / *тюрьма народов* (*тоталитарное государство, империя зла, Верхняя Волта с ракетами* и т. д.). При этом противопоставление не обязательно имеет выраженный характер: возможно, более частотными оказываются именно случаи не эксплицитированной вербально, но в то же время несомненной антитезы, второй (не называемый) компонент которой заранее присутствует в сознании адресата и становится автоматической реакцией на первый как стимул. Другими словами, если есть (а агитпроп, в любом его обличии, успел внушить, что безусловно есть) *свободный мир* (или другие варианты), то обязательно должен быть и некий *несвободный мир* (также в разных словесных воплощениях вроде *империи зла*). И наоборот: поскольку реальна *тюрьма народов* (*тоталитарное государство*), постольку существует *свободный мир*, и т. д. Такое молчаливое соподраживание весьма эффективно, в том числе и потому, что, являясь стереотипным, не подлежит попыткам аналитического осмысления речедееателем: гораздо проще и удобнее воспринять аксиому, нежели искать доказательства теоремы. Кроме того, самые фантастичные инвективные мифогены, будучи используемыми в отрыве от своих антонимических пар, наверняка более выигрышны; ведь «глупость осуждения не столь заметна, как глупая похвала» [Пушкин 1978, 8: 64]. Конечно, упомянутая интеллектуальная составляющая также весьма значима в суггестивном отношении; ср. суждение запоздало прозревшего либерала по поводу «беззаконных бумажек» — революционных прокламаций: «вся тайна их эффекта — в их глупости!... Будь это хоть каплю умнее высказано, и всяк увидел бы тот час всю нищету этой коротенькой глупости. Но ... никто не верит, чтоб это было так первоначально глупо» [Достоевский 1957, 7: 505].

Потому в информационно-психологической войне кардинально важно, **кто** из противников для привлечения на свою сторону так называемого общественного мнения сделает выпад первым (один из многих поучительных и печальных примеров — него-

товность российских политтехнологов к пропагандистскому обеспечению позиции РФ в грузинско-югоосетинском конфликте 2008 г.). Именно активно проявляемая инициатива зачастую оказывается решающей. Скажем, зарубежные «правозащитные» организации исходят из того, что в их цивилизованных отечествах права любого человека и гражданина защищены самим государством абсолютно надежно, а потому есть неоспоримые основания насаждать такую же модель социально-политического устройства по всему земному шару — это, конечно же, не войны, а мирные инициативы (миротворческие операции) и не интервенция и оккупация, а гуманитарные акции и т. п. Последовательность логических построений примерно такова, как в этических умозаключениях джефферсонцев: «...дурное одурчит лишь дурную женщину... Но добродетельную женщину оно не проведет, ибо если она добродетельная, значит, ей уже нет нужды до своей или чужой добродетели, и потому она в избытке располагает временем, чтобы учуять грех» [Фолкнер 1985, 2: 48] (применительно к политической сфере «грех» — это якобы нарушения прав человека в других странах и недостаток там демократии, обычно при изобилии природных ресурсов, дешевой рабочей силы, стратегически выгодного географического положения и т. п.).

Если вообще «выбор метафорической модели навязывает, формирует набор альтернатив разрешения проблемной ситуации» [Баранов 2003: 134—135], то клишированное употребление рассмотренных метафор, выступающих в двуединстве (даже, как уже сказано, при экспликации лишь одного из компонентов антитезы), собственно, и предлагает внешне логичную (а в действительности — сугубо ложную) альтернативу. Прочно усвоивший ее индивидуум вряд ли будет обременять себя поисками каких-то аргументов, которые могли бы подтвердить (или опровергнуть) справедливость штампованной символической оценки.

Примеры использования явно эффективных идеолого-политических метафор *свободный мир / тюрьма народов* как оппозиции абсолютной свободы / абсолютной несвободы, порождающего желаемые манипуляторами ассоциации, — это примеры умелого жонглирования пропагандистскими мифогенами, которые иницируют и внедряют в массовое сознание программируемые стереотипы: ложный сигнал к самоубийственному действию — инструмент информационной войны [Кара-Мурза 2002: 393].

В заключение следует отметить ту роль, которую играют в тиражировании рассмот-

ренных концептуальных стереотипов — в тех или иных вербальных модификациях — российские СМИ. Они в абсолютном большинстве своем поражены тем, что было определено как «патологическая западофилия», замешенная, в свою очередь, на «маниакальной западофилии российских либералов» [Поляков 2005: 306, 380] (позднее журналист М. Леонтьев квалифицировал те же настроения как «клиническую американофилию»). Либо прямо, либо косвенно Россия и русские обвиняются в некоей «ущербности», т. е. несоответствии стандартам западной ментальности, которые, в свою очередь, объявляются идеальными, но для наших соотечественников по большей части недостижимыми. Однако подобные подходы и оценки вряд ли могут способствовать хоть какому-то улучшению ситуации в стране в силу их несомненной деструктивности.

ЛИТЕРАТУРА

1. Аннушкин В. И. Язык и духовное состояние общества // Речевое общение: специализированный вестн. — Красноярск : СФУ, 2009. Вып. 10—11 (18—19). С. 172—180.
2. Ашукин Н. С., Ашукина М. Г. Крылатые слова. — М., 1986.
3. Базылев В. Н. Политический дискурс в России // Известия УрГПУ. Лингвистика. — Екатеринбург, 2005. Вып. 15. С. 5—32.
4. Баранов А. Н. Политическая метафорика публицистического текста: возможности лингвистического мониторинга // Язык СМИ как объект междисциплинарного исследования. — М., 2003. С. 134—140.
5. Бёль Г. Столичный дневник // Бёль Г. Собр. соч. : в 5 т. Т. 2. — М., 1990. С. 629—638.
6. Березин Ф. М. Хрестоматия по истории русского языкознания. — М., 1973. 504 с.
7. Горбачёв: «Целью моей жизни было уничтожение коммунизма» // Отечественные записки. 2010. № 15. 19 авг. С. 16. Цит. по: USVIT : газ. (Словакия). 1999. № 24.
8. Достоевский Ф. М. Бесы // Достоевский Ф. М. Собр. соч. : в 10 т. Т. 7. — М., 1957.
9. Достоевский Ф. М. Братья Карамазовы Ч. 1—3 // Достоевский Ф. М. Собр. соч. : в 10 т. Т. 9. — М., 1958.
10. Душенко К. В. Словарь современных цитат. 4-е изд. — М., 2006.
11. Ильф И., Петров Е. Золотой теленок // Ильф И., Петров Е. Двенадцать стульев. Золотой теленок. — Новосибирск, 1957.
12. История Всесоюзной Коммунистической партии (большевиков). — М., 1953.
13. История Коммунистической партии Советского Союза. — М., 1970.
14. Кара-Мурза С. Г. Манипуляция сознанием. — М., 2002.
15. Керимов Р. Д. Манипуляция массовым сознанием в политическом дискурсе // Изучение русского языка и приобщение к русской культуре как путь

адаптации мигрантов к проживанию в России. — Екатеринбург, 2007. С. 65—66.

16. *Коньков В. И.* Воздействующая речь в печатных средствах массовой информации // Речевое общение. — Красноярск, 2009. Вып. 10—11 (18—19). С. 83—89.

17. *Косяков В. А.* Стереотип как когнитивно-языковой феномен (на материале СМИ, посвященных войне в Ираке) : автореф. дис. ... канд. филол. наук. — Иркутск, 2009.

18. *Кюстин А. де.* Россия в 1839 году : в 2 т. — М., 1996.

19. *Ленин В. И.* Сборник произведений. — М., 1976.

20. *Мазнева Е. В.* Категория оценочности в СМИ в свете проблемы толерантности // Русский язык: история и современность. — Челябинск, 2002. Ч. 1.

21. *Нириг С.* Свобода: обещание и угроза. — М., 1966.

22. *Онищенко М. С.* Национальная специфика концепта свободная страна в русском, немецком и американском языковом сознании // Политическая лингвистика. 2009. № 1 (27). С. 91—102.

23. *Поляков Ю. М.* Порнократия. — М., 2005.

24. *Пушкин А. С.* Table-talk // Пушкин А. С. Полн. собр. соч. : в 10 т. — Л., 1978. Т. 8. С. 64—83.

25. *Пушкин А. С.* Борис Годунов // Пушкин А. С. Полн. собр. соч. : в 10 т. — Л., 1978. Т. 5. С. 187—280.

26. *Рар А.* Вести // РТР. 2006. 7 сент.

27. *Семенов Ю. С.* Репортер // Семенов Ю. С. Бриллианты для диктатуры пролетариата. Репортер. — М., 1991. С. 301—559.

28. *Серов В.* Энциклопедический словарь слов и выражений. 2-е изд. — М. : Локид-Пресс, 2005.

29. *Словарь русского языка* : в 4 т. Изд. 2-е. = МАС2. — М., 1981—1983.

30. *Стернин И. А.* Можно ли культурно формировать культуру в России? // Культурно-речевая ситуация в современной России: вопросы теории и образовательных технологий. — Екатеринбург, 2000. С. 161—165.

31. *Таирбеков Б. Г.* О номинации валюты в криминальной криптологии // Язык и социум. — Минск, 1998. Ч. 1. С. 95—99.

32. *Толковый словарь современного русского языка.* Языковые изменения конца XX столетия = ТСССРЯ / под ред. Г. Н. Складневской. — М., 2001.

33. *Трубачёв О. Н.* Заветное слово. Взгляд лексикографа на проблемы языкового единства славян. — М., 2004.

34. *Фолкнер У.* Свет в августе // Фолкнер У. Собр. соч. : в 6 т. — М., 1985. Т. 2. С. 5—342.

35. *Чернов В. М.* 1917 год: народ и революция // Страна гибнет сегодня. Воспоминания о Февральской революции 1917 г. — М., 1991. С. 337—360.

36. *Чудинов А. П.* Россия в метафорическом зеркале: когнитивное исследование политической метафоры (1991—2000). 2-е изд. — Екатеринбург, 2003.

37. *Шафаревич И.* Из статьи «Русофобия» // Русский вестник. — Л., 1990. С. 17—20.

38. *Шляхтина Е. В.* Употребление термина политкорректность в российских СМИ // Русский язык и ментальность : материалы 37-й Междунар. филолог. конф. — СПб., 2008. С. 94—99.

Статью рекомендует к публикации д-р филол. наук, проф. А. П. Чудинов